

<https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.11.7>

Цзан Юньмэй

[Россия и Петербург в поэзии русской эмиграции в Китае \(Н. Светлов, Н. Щеголев, Н. Петерец\)](#)

Цель исследования - рассмотреть поэтические тексты представителей "восточной ветви" русской эмиграции (1920-1940-е гг.), связанные с образом России, родины и Петербурга, и в ходе анализа выявить своеобразие воплощения образа родины-литературы в произведениях русских эмигрантов первой волны. Научная новизна работы состоит в обращении к редким текстам поэтов "харбинско-шанхайского" региона, в разработке уже ставшего привычным концепта "петербургский текст" (В. Топоров) на материале так называемых "восточных поэтов". Полученные результаты показали, что в поэтических произведениях о Востоке Н. Светлова, Н. Щеголева, Н. Петереца органично присутствует "петербургский текст", в них намеренно включены аллюзии на претексты А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Блока, интертекстуальные переключки с которыми и формируют новое понятие "харбинско-петербургского" поэтического текста.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2020/11/7.html

Источник

[Филологические науки. Вопросы теории и практики](#)

Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Выпуск 11. С. 32-39. ISSN 1997-2911.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2020/11/

[© Издательство "Грамота"](#)

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: phil@gramota.net

<https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.11.7>

Дата поступления рукописи: 14.10.2020

Цель исследования – рассмотреть поэтические тексты представителей «восточной ветви» русской эмиграции (1920-1940-е гг.), связанные с образом России, родины и Петербурга, и в ходе анализа выявить своеобразие воплощения образа родины-литературы в произведениях русских эмигрантов первой волны. **Научная новизна** работы состоит в обращении к редким текстам поэтов «харбинско-шанхайского» региона, в разработке уже ставшего привычным концепта «петербургский текст» (В. Топоров) на материале так называемых «восточных поэтов». **Полученные результаты** показали, что в поэтических произведениях о Востоке Н. Светлова, Н. Щеголева, Н. Петереца органично присутствует «петербургский текст», в них намеренно включены аллюзии на претексты А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Блока, интертекстуальные переклички с которыми и формируют новое понятие «харбинско-петербургского» поэтического текста.

Ключевые слова и фразы: поэзия русской эмиграции в Китае; Н. Светлов; Н. Щеголев; Н. Петерец; «петербургский текст».

Цзан Юньмэй

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург
1374766721@qq.com

Россия и Петербург в поэзии русской эмиграции в Китае (Н. Светлов, Н. Щеголев, Н. Петерец)

Актуальность изучения поэтических текстов русских поэтов-эмигрантов «восточной ветви» 1920-1940-х гг., обращавшихся к теме родины, России, к образу Петербурга, в современном русском и китайском литературоведении несомненна, ибо интерес к поэтическому наследию русских писателей-эмигрантов на Восток в последние годы возрастает. Материалом для работы послужили лирические произведения Н. Светлова, Н. Щеголева, Н. Петереца, поэтов «харбинско-шанхайского» региона, которые напрямую связаны с «петербургским текстом» и на разных уровнях воплощают его черты и признаки. В **задачи** настоящего исследования вошло намерение проанализировать малововлеченные в научный оборот тексты поэтов русской эмиграции; показать, как знаковые имена русской литературы, которые стояли у истоков создания «петербургского текста» – А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, А. Блок, стали именами-претекстами для поэтов-эмигрантов; обосновать, как эти интертекстуальные переклички помогли обогатить произведения молодых поэтов, оказавшихся на Востоке вдалеке от родины.

Основными **методами**, применяемыми в процессе данного исследования, избраны сравнительно-исторический, типологический, интертекстуальный, поэтологический в их единстве и дополнительности. Комплексный подход, предложенный в статье, позволяет открыть новые грани творческого разнообразия литературной эмиграции на Востоке – как в широком социокультурном аспекте, так и в его историко-литературных частностях, связанных с литературным интертекстом.

Теоретической базой работы послужили фундаментальные труды основоположников сравнительно-сопоставительного литературоведения, разработавших идеи межлитературных связей, – А. Н. Веселовского [3], В. М. Жирмунского [6], Н. И. Конрада [10], М. М. Бахтина [1], И. Г. Неупокоевой [12], Р. Ю. Данилевского [5] и др.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты, наблюдения и выводы могут быть не только использованы при дальнейшем изучении литературы «восточной ветви» русской эмиграции, но и включены в общие и специальные историко-литературные и литературно-теоретические курсы по литературе русской эмиграции (в вузах и школах как России, так и Китая).

Итак, традиционно пристальное внимание исследователей привлекает к себе так называемая «западная ветвь» русского зарубежья, для которой наиболее значительными центрами в Европе стали Франция (Париж, Ницца, Канны), Германия (Берлин, Мюнхен), Чехия (Прага), Болгария (София), Финляндия (Хельсинки) и др. Однако в ходе разнонаправленных исторических событий сформировалась и «восточная ветвь» русской эмиграции, главным образом – китайская. Потому в современном мире, в новых сложившихся обстоятельствах, наряду с именами А. Аверченко, М. Алданова, К. Бальмонта, И. Бунина, З. Гиппиус, Д. Мережковского, И. Одоевцевой, Тэффи, М. Цветаевой, И. Шмелева и др., в центре научных дискуссий оказываются и имена А. Ачаира, С. Алымова, Т. Баженовой, Ф. Камышнюка, М. Колосовой, А. Несмелова, А. Паркау, В. Перелешина, Н. Светлова, Н. Щеголева и др. Российские эмигранты «восточной ветви», волею обстоятельств оказавшиеся на Дальнем Востоке, жили и творили в Пекине, Тяньцзине, Ханчжоу, Сыньцзяне, Даляне, Мукдене и др. Но ни один из названных китайских городов не может сравниться по мощи русского эмиграционного потока с Харбином и Шанхаем. По наблюдениям Е. П. Таскиной, только «в 20-е – 40-е годы в Харбине и Шанхае было издано около 60 поэтических сборников» [14, с. 244]. В. Крейд, создатель емкой антологии «Русская поэзия Китая» уточняет: «...за тридцать лет (1918-1947) их вышло в три раза больше...» [11, с. 5].

Весьма важным обстоятельством развития русской литературы в Китае было то, что в отличие от Берлина, Парижа и Праги в Харбине родной язык продолжал оставаться основным. Если для западной эмиграции

угроза языковой ассимиляции была реальностью, и языковой критерий «станови<л>ся не просто ведущим, но превраща<л>ся в своеобразный лингвистический и нравственный императив» [9, с. 323], то в «русском» Харбине литераторы имели возможность говорить на русском языке, не стараясь в этом смысле приспособиться к инокультурной среде.

Между тем очевидно, что русская эмиграция в Китае, особенно старшее ее поколение, жила единственным желанием «пожить и непременно умереть на родной земле»: «Старшее поколение болело ностальгией, и в болезненном воображении грезилась далекая юность, прекрасная страна, в которой они родились и жили, люди, которые их когда-то окружали...» [19, с. 39].

В этих обстоятельствах связь с покинутой родиной осуществлялась на *внешнем* уровне, несомненно, через печать (советские и зарубежные газеты и журналы), через кинематограф (документальное и художественное кино), через нерегулярные визиты граждан СССР (в том числе советских артистов и общественных деятелей), но преимущественно на уровне *внутреннем* – посредством былых воспоминаний, мысленных возвращений к ушедшему прошлому и, конечно, через классическую литературу, через знакомые с детства строки русской поэзии, страницы русской прозы и драмы.

Как известно, Россия всегда была и во многом остается страной *литературоцентричной*. Высшим авторитетом для русского человека служат не сентенции политиков или философов, а поэтические формулы писателей. Как показывает разговорная практика, в России поэтические строки русских классиков уже почти перешли в разряд фразеологизмов: обороты «Чем меньше женщину мы любим...» (А. Пушкин), «Умом Россию не понять...» (Ф. Тютчев), «И дым Отечества нам сладок и приятен...» (А. Грибоедов) бытуют в обычной коммуникативной среде на уровне народных фразеологизмов. И примеров подобного рода множество.

Поэтому воспитанные на русской литературе эмигранты «восточной ветви» со всей определенностью относились с пиететом к литературным традициям отечества. Русская литература (и русская культура в целом) становилась фундаментальной основой национального единения дальневосточной эмиграции, гарантом ее исторической общности и внеэтнического братства.

Отдельные интересные наблюдения в этом направлении ранее были уже сделаны в работах А. А. Забияко и Г. В. Эфендиевой [7; 8], В. Крейда [11], Е. П. Таскиной [14], И. С. Трусовой [15], А. А. Хадынской [16], В. Г. Шароновой [18] и др. Так, исследователь А. А. Забияко обратила внимание на то, что «именно литература становится призмой, сквозь которую просвечивает и душевное состояние героя, и его отношение к прошлому, и его художественные ориентиры» [7, с. 222].

В ряду знаковых имен, которые получили отражение в русской эмиграционной поэзии «восточной ветви», оказались, с одной стороны, классики XIX столетия, чье творчество способствовало мировому признанию русской литературы – А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. Н. Толстой (и др.), с другой – поэты-современники, писатели начала XX века, чье художественное новаторство уже получило известность и признание: яркие представители «старших» (В. Брюсов) и «младших» (А. Блок и Андрей Белый) символистов, футуристы В. Маяковский и В. Хлебников, один из зачинателей поэтической школы акмеизма Н. Гумилев и его яркий представитель А. Ахматова, поэты М. Цветаева и М. Волошин и др. Но не менее важно и то, что сердцем России для поэтов-эмигрантов в 1920-1930-е годы продолжал оставаться Петербург, к этому времени уже утративший статус столицы и сменивший два имени – Петроград и Ленинград. «Петербургский (пра)текст» продолжал составлять важную плоскость мировосприятия поэтов «восточной ветви» русской эмиграции, приковывал к себе внимание.

В этом плане одним из первых может быть рассмотрено стихотворение Николая Светлова «За рубежом», напечатанное в поэтическом альманахе «Рубеж» (1931. № 3. С. 3).

Колдовская ночь! Мороз жестокий
Хочет кровь артерий затушить,
И туман глядит глазами Блока
В нищенскую пустоту души.
Фонари качаются – слепыми
Призраками снятых с неба звезд.
Со двора на них, с глазами злыми,
Лается провинциальный пес.
Сердцу холодно. И, согреваясь,
Сердце сказку теплую творит:
Предо мною улица кривая
Принимает петербургский вид.
И в тумане улицы – виденья:
Пушкин, Достоевский, Гоголь, Блок,
Чьи неумирающие тени –
Всей былой России эпилог.
Хочется упасть лицом в сугробы
Сонного проспекта и уснуть,
Чтоб забыть, смиряя в сердце злобу,
Ту страну, куда заказан путь [13, с. 476].

Заглавие стихотворения сразу обнаруживает, что лирический герой Светлова находится «за рубежом», вне родины, вне России, куда ему «заказан путь». Художественное пространство «зарубежного» пребывания воспринимается героем как крайне неблагоприятное: в этом пространстве его «сердцу холодно», потому что «мороз жесток» настолько, что «хочет кровь артерий затушить». Создаваемая картина поэтического хронотопа постепенно приобретает характер мифологизированного образа-символа духовно опустошенного мира. Снятые с неба звезды теряют в подобной атмосфере свою светоносную силу и становятся лишь слепыми призраками-фонарями. Нищенски пуста здесь и душа героя.

Однако как будто в соответствии с гармонизирующими законами мифологического сознания выписанной опустошенности начинает противопоставляться ее художественный антипод – мир «сказки теплой», творимой оттаивающим сердцем героя. Но и этот мир герой стихотворения Светлова воспринимает без радости, потому что это призрачный мир прошедшего, оставшегося позади.

Сказанное позволяет солидаризироваться с наблюдениями китайской исследовательницы Цуй Лу, изложенными в статье «Харбинский миф в поэзии русской дальневосточной эмиграции» [17]. Рассматривая *миф* как текст культуры, Цуй Лу говорит о «харбинском» мифе, представленном у русских поэтов-эмигрантов «в поэтических воплощениях образа Харбина» и являющимся частью некоего более обширного «эмигрантского мифа». В связи со стихотворением Светлова «За рубежом» Цуй Лу замечает: «Лирический образ Харбина как будто “растворен” в “русском тексте”: он становится фоном для развертывания типично русских тем и зачастую сливается с образом России, Петербурга» [Там же, с. 89].

Исследователь, несомненно, права. Однако тщательный анализ стихотворения Светлова позволяет углубить представление как о «харбинском», так и о «петербургском» тексте в стихотворении Светлова.

Дело в том, что Цуй Лу упускает тот факт, что Харбин строился по проекту петербургских архитекторов, в значительной мере моделировался как «мини-китайский» Санкт-Петербург и потому возникал в сознании харбинских поэтов не только ментально, умозрительно, в воспоминаниях, но и воочию – действительно, в уголках города, в поворотах улиц, в абрисе домов, даже речной набережной им виделись знакомые перспективы Петербурга. Для русских харбинцев, сохранивших в памяти российский столичный город, было легко мысленно Харбин вытеснить (заслонить) Петербургом и в какой-то части города разглядеть «неумирающие тени» Пушкина, Достоевского, Гоголя, Блока.

Обратим внимание, что первым именем, которое возникает в строках светловского стихотворения, становится Блок. Совершенно очевидно, что весь текст Светлова организован образами и мотивами блоковской поэзии. В этом ряду сразу оказываются мороз, туман, сугробы, улица, фонари: и следом невольно (воз)рождаются образы блоковского «Ночь, улица, фонарь, аптека...» [2, с. 412]. Даже упоминание пса в этом контексте встраивается в единый ряд блоковских ассоциаций – «позади голодный пес» («Двенадцать»). «Нищенская пустота души» перекликается с блоковским «Россия, нищая Россия...» («Опять, как в годы золотые...»). А стихотворение в целом обретает обреченно узнаваемую блоковскую тональность неизбежной повторяемости событий: «Живи еще хоть четверть века – / Все будет так. Исхода нет...» [Там же].

Ритм, строй, тональность (= смысл) блоковского стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...» оказываются созвучны настроению и размышлениям светловского героя: его «сердца злоба» сродни блоковской обреченности «И повторится все опять...» [Там же]. А трагическая судьба реального Блока, встающего за строками стихотворения, становится своеобразным утешением-смирением для изгнанника, оставшегося без России, «куда заказан путь».

«Тень» Блока (и его судьба) показательны и примирительны. По-лермонтовски, он «навечно так усну<л>», как хотел бы уснуть и лирический герой Светлова. Потому имена-видения Пушкина, Гоголя, Достоевского, Блока воспринимаются героем Светлова как «эпилог», как завершение (= послесловие) литературной судьбы России.

По Светлову, смерть Блока ставит точку в едином (интер)тексте русской литературы – неслучайно имя Блока стоит последним в ряду имен. Однако образ Петербурга, где творили Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок, воспринимается лирическим героем в виде «сказки», сотворенной его сознанием, и становится тем утешительным воспоминанием, которое смиряет героя с мыслью о смерти – физической или метафизической. Остановленная морозом «кровь артерий» и мертвенная «пустота души» не подвластны холоду смерти – как тени-призраки литературы не подвластны умиранию, они «неумирающие».

Этот мотив, просматривающийся в финале текста, смягчает трагический аккорд «вечного сна могилы», позволяя лирическому герою *затекстово* утвердить мысль о силе слова, поэзии, литературы. И как итог – о неразрывной связи с «былой Россией», имя которой, только «сказочное» воспоминание о которой заслоняют собой облик чужого города. В этом «колдовство» (пост)блоковской ночи у Светлова, очарование его «петербургско-харбинского текста», близость облика «русского» Харбина лику его прародителя, города на Неве Петербурга. Более того, в стихотворении Светлова «За рубежом» концепт «*Петербург* как текст» становится для харбинско-русского поэта-эмигранта равновелик национальному концепту – «*Россия* как текст».

Не менее выразительно тема России-Петербурга заявлена и в творчестве Николая Щеголева. Примечательны в этом отношении стихи поэта, вошедшие в альманах «Остров» (Шанхай, 1946). Именно в нем представлено одно из самых известных стихотворений поэта на «литературную тему» – «Достоевский». На стихотворение следует обратить внимание уже только потому, что в нем так же, как и у Светлова, Россия предстает в образных знаках русской словесности.

До боли, до смертной тоски
Мне призраки эти близки...

Вот Гоголь. Он вышел на Невский
Проспект, и мелькала шинель,
И нос птицеклювый синел,
А дальше и сам Достоевский
С портрета Перова, точь-в-точь...
Россия – то вьюга и ночь,
То светоч, и счастье, и феникс,
И вдруг, это все замутив,
Назойливый лезет мотив:
Что бедность, что трудно-с, без денег-с.

Не верю я в призраки – нет!
Но в этот стремительный бред,
Скрепленный всегда словоерсом,
Я верю... Он был, и он есть,
Не там, не в России, так здесь.
Я сам этим бредом истерзан...
Ведь это, пропив вицмундир,
Весь мир низвергает, весь мир
Все тот же, *его*, Мармеладов
(Мне кажется, я с ним знаком)...
И – пусть это все далеко
От нынешнего Ленинграда!

Но здесь до шемящей тоски
Мне призраки эти близки [13, с. 580]!..

Как и у Светлова, центром русской литературы для Щеголева оказывается Петербург, именно «петербургский текст» емко вбирает в себя те литературные имена-призраки, которые не дают покоя лирическому герою. И хотя стихотворение названо «Достоевский», настраивая на образные ряды мистического «желто-большого» Петербурга, однако первым призраком, который появляется в тексте Щеголева, становится тень Гоголя: «Вот Гоголь. Он вышел на Невский / Проспект, и мелькала шинель, / И нос птицеклювый синел...».

Любопытно, что Щеголев апеллирует не собственно к Гоголю и не к реальному Петербургу (тогда уже Ленинграду), но к Петербургу литературному, гоголевскому. По существу, уже в самом начале стихотворения Щеголев последовательно называет произведения, которые вошли в гоголевский цикл «Петербургские повести» [4, с. 240-296] – это «Невский проспект», «Шинель», «Нос» (остались не упомянутыми только «Портрет» и «Записки сумасшедшего»). При этом поэт, с одной стороны, словно бы выписывает портрет самого Гоголя (заметим: «Портрет») – его крылатку («шинель»), его знаменитый длинный нос («птицеклювый»), но с другой стороны, отчетливо дополняет кластер «Петербургских повестей», заставляя вспомнить об атмосфере «*Записок сумасшедшего*», о той среде, которая близка состоянию лирического героя самого Щеголева. И перечень «петербургских повестей» Гоголя оказывается дополненным и выписанным полно, хотя и не буквально (точнее, не буквенно). Лирический герой Щеголева оказывается помещенным в холодный и мрачный Петербург гоголевских повестей, с его мистериями (когда Нос в чине статского советника гордо развезжает в карете по Невскому проспекту, или призрак бедного Башмачкина отбирает у испуганных прохожих шинели).

Как известно, место, которое занимают «Петербургские повести» (1832-1836) Гоголя в русской литературе, в первую очередь, связано с появлением образа «маленького человека», прежде всего – выразительного Акакия Акакиевича Башмачкина, бедного, несчастного, жалкого. Не найдя справедливости для героя в реальной жизни, Гоголь позволяет ему обрести отмщение после смерти – в виде призрака, ищущего и наказывающего своего обидчика (у Гоголя – «одно значительное лицо»).

С образом Гоголя и гоголевских героев в стихотворении Щеголева входит «назойливый мотив» бреда и мучи человеческой жизни («... замутив...»), ее несправедливости и безжалостности к «маленькому» одинокому человеку. «Что бедность, что трудно-с, без денег-с...».

Кажется, в тексте звучит мотив интертекстуальный – мотив обездоленности «маленьких» людей (и это справедливо). Однако за ним просматривается и доля самого лирического героя, которому, вероятно, тоже знакома бедность и которому «трудно-с, без денег-с». Русская литература порождает отклик (отзвук) в душе лирического героя.

Однако стихотворение Щеголева титульно посвящается Достоевскому. И потому вслед за мистикой гоголевского Петербурга Щеголев возрождает мистику и бред («бредом истерзан») Петербурга Достоевского. Следом за «маленьким» гоголевским Акакием Акакиевичем возникают образы-призраки «маленьких героев» Достоевского: Макара Девушкина из «Бедных людей» и Семена Мармеладова из «Преступления и наказания».

Словоерсы Башмачкина словно бы озвучиваются устами Девушкина: «трудно-с, без денег-с» – и находят свое развитие в судьбе Мармеладова, бедного чиновника, пропившего свой «вицмундир» и взывающего жалости.

Лирический герой Щеголева не верит призракам «жизненным» («Не верю я в призраки – нет!»), но он заявляет о его вере в другой «стремительный бред» – в литературный («Я верю...»). Литература для героя Щеголева оказывается жизнеподобнее действительности, в нее можно верить, она (литература) способна постичь правду. И герой Щеголева признается: «Не там, не в России, так здесь. / Я сам этим бредом истерзан...».

Бред литературы и бред России симптоматично оказываются у Щеголева в соседстве. По мысли героя (и поэта), ничто в мире «маленьких людей» не изменилось: «...весь мир / Все тот же». «Маленькие люди» по-прежнему бедны, «унижены и оскорблены». Весь мир – «его, Мармеладов» (т. е. мармеладов[ский], краткая форма прилагательного; мир Мармеладов[а]). Неслучайно герою Щеголева кажется, что он встречал этого героя, знаком с ним («Мне кажется, я с ним знаком...»).

Лирическая тональность стихотворения, повествование от первого лица («я») заставляют предположить, что и сам субъективированный персонаж Щеголева из такого рода людей, «маленьких» и «униженных». И даже если это не вполне так, то все равно герой (и автор) признается, что здесь, «далеко от нынешнего Ленинграда», ему «призраки эти близки» «до шемящей тоски».

Лирический герой Щеголева словно бы наполняется чужолюбием Гоголя и Достоевского и вдалеке («далеко») от родины продолжает жить жизнью ее людей (= «призраков»). Благодаря литературе связь персонажа Щеголева с родиной, с Россией, с Петербургом не прерывается. Сердце его героя полнится той же тоской и состраданием, которые питали душу его предшественников, создателей великой русской литературы, Гоголя и Достоевского. Фразеологический оборот «до смертной тоски» накладывает трагический отпечаток на образ героя Щеголева, оттеняет те чувства, которые «до смерти» привязывают его к русской литературе и к родине.

Примечательной особенностью стихотворения Щеголева становится экфрасис – обращение к известному живописному полотну, нашедшему отражение в литературе (отражение визуального через вербальное). Литературный контекст оказался у Щеголева дополнен контекстом живописным, порождая представление о «боли» и «тоске», принижающим всю русскую культуру.

Еще один «петербургский» текст – стихотворение Н. Петереца «Нет, не Москва, где каждый палисадник...» (1932).

Нет, не Москва, где каждый палисадник,
Где каждый двор – в миниатюре – Русь,
Преодолеть мне помогает грусть
О Родине, а устремленный всадник,

Воспетый Пушкиным. На вздыбленном коне
Он по сей час и грозен, и победен...
О, чары мастерства, что дали волю меди,
Возможные в искусстве и во сне.

Пусть конь храпит на твердом пьедестале
И борется с желаньем ездока –
Его простертая вперед рука
Зовет Россию к неизвестной дали.

Ты чужд теперь нахмуренной толпе,
Внесенный в ночь, грозящий мраку рыцарь,
Как в символе мистически таится
Российская империя в тебе,

Чтоб вновь восстать нерукотворным чудом
Среди снегов и каменных громад,
Затем, что Русь не отойдет назад,
А, как река, осилит все запруды [13, с. 582].

Примечательно, что для харбинского поэта и в 30-е годы не Москва, где каждый двор и каждый палисадник – Русь, а Петербург остается символом России и родины. Причем знак-символ России и веры в ее силу и мощь у Петереца – образ «Медного всадника», императора Петра Первого «на вздыбленном коне», воспетого Пушкиным в одноименной поэме.

Именно образ величавого Медного всадника помогает поэту преодолеть «грусть о Родине» (обратим внимание: Петерец слово родина неизменно пишет с большой буквы, демонстрируя высоту концепта). И хотя, по словам поэта, обращенным к императору Петру: «Ты чужд теперь нахмуренной толпе, / Внесенный в ночь, грозящий мраку рыцарь», – однако, по мысли лирического героя, именно петровская «простертая вперед рука / Зовет Россию к неизвестной дали» и внушает уверенность в том, что «Русь не отойдет назад, / А, как река, осилит все запруды».

Пронизанный интертекстуальными аллюзиями образ Петра Первого (творения Пушкина и Фальконе) внушает поэту Харбина, поэту-эмигранту, с одной стороны, успокоение и дарит спасение от тоски и горечи,

с другой – позволяет верить в возвращение былой России, Петербурга (не Ленинграда). Образ сильного национального героя – Петра Великого – помогает лирическому герою внушить веру в себя и поверить в собственные силы, поддержать. Медный всадник воспринимается героем как «мистический символ», который не нуждается в доказательстве силы, которому достаточно только веры. Именно мотив веры опосредует весь текст Петереца, тесно переплетая образы России и Петербурга, образы родины и литературы.

Другое стихотворение Петереца, как и у Щеголева, связано с именем Ф. М. Достоевского. Его стих так и называется – «Достоевский».

Как черновик, день скомкан и отброшен.
Туман густеет над ночной Невой,
И Достоевский, словно гость непрошенный,
По комнате шагает – сам не свой.
Бормочет. Злобствует: «Не жизнь, а крошево,
Так трудно жить по-божьи, по-хорошему
Средь этой сутолоки деловой!

О век рассудка! Век безличной массы!
И человек, как бес – во всем черта:
Ведь мастер бес и шкодить и замазывать,
И ненавистна бесу широта.
Не пишется... Забыты “Карамазовы”,
Ведь некому и не о чем рассказывать.
Нет образов, одна лишь пустота.

Зачем писать? Не восстановишь лада
В раздробленной душе, в больном мозгу!
С надрывом, с похотливою усладою.
Писать? Для Бога? Для России? Надо ли?
Я отдал все... Я больше не могу!» –
Душа тоскует старым Мармеладовым
И пьяницей замерзнет на снегу.

Томит тоска, набухнувшая тучею.
И одиночество. И боль. И мгла.
Бороться ли с бедою неминуемой?
Вот молния сверкнула, обожгла,
И сотрясла, и выгнула падучая:
На дыбе так подергивают, мучая,
Истерзанные пыткой тела,
Чтоб правду выведать [Там же, с. 584]...

Обращает на себя внимание тот факт, что текст Петереца весьма близок в мотивно-образной структуре стихотворению Щеголева с тем же названием. И это не случайно. Дело в том, что Петерец и Щеголев были близкими друзьями, тесно общались, вместе отделились от «Чураевки», создавая «Круг поэтов», включались в поэтические соревнования на одну тему. Очевидно, что и многие темы и проблемы, литературные имена и образы они обсуждали совместно. Потому точкой пересечения двух текстов становятся не только имена Достоевского и Мармеладова (что сразу обращает на себя внимание), но и преобладающий – доминирующий – сходный для обоих мотив: мотив бреда, мотив сумасшествия, мотив бесовства.

В отличие от Щеголева, почти весь текст стихотворения Петереца представляет собой монолог Достоевского, пеняющего современному миру, судящего его за безнравственность и бесчеловечность: «Не жизнь, а крошево, / Так трудно жить по-божьи, по-хорошему / Средь этой сутолоки деловой! / О век рассудка! Век безличной массы!..».

Лирический герой Петереца (беззвучно) соглашается с Достоевским, задающимся риторикой вечных вопросов: «Зачем писать? Не восстановишь лада / В раздробленной душе, в больном мозгу! / С надрывом, с похотливою усладою. / Писать? Для Бога? Для России? Надо ли?..». Как и русский классик, лирический персонаж Петереца осмысляет вопрос предназначения творчества, роли писателя и его творений: «Зачем писать?». Потому строки «Душа тоскует старым Мармеладовым» и «<душа> пьяницей замерзнет на снегу...» оказываются уже за пределами прямой речи Достоевского, они представляют собой подхваченный лирическим героем пафос восприятия классиком сегодняшнего мира. Образный ряд: «И одиночество. И боль. И мгла» – в одинаковой степени оказывается и достоевским, и петерецевым.

Обоих авторов охватывает отчаяние от неразрешимости вопроса, как и чем «бороться... с бедою неминуемой?». И традиционно ответом на этот риторический по сути вопрос становится творчество: для Достоевского – его романы (неслучайно, прозаик вспоминает «Братьев Карамазовых» и аллегорично, растворенно в тексте, «Бесов»), для Петереца – его лирические строки, в которых Достоевский помогает ему и подталкивает его к нужным ответам.

И вновь, как у ранее проанализированных поэтов, русская литература для Петереца – не просто вымысел, фантазия, игра воображения. Это способ осознания важнейших проблем бытия, человеческого существования, это кладезь потаенных ответов на возникающие «больные» вопросы. Литература – средство «выведать правду», найти себя, укрепить себя, сохранить веру в смысл существования, в собственное предназначение в жизни. И «петербургский» текст (как было отмечено выше, визуально и виртуально в чем-то близкий для эмигрантов «харбинскому») занимает свое важное место, исполняет существенную роль.

Наконец, в качестве одного из самых интертекстуально насыщенных стихотворений Петереца, можно назвать сонет «Россия». Стихотворение было напечатано в сборнике/альманахе «Остров» (Шанхай, 1946) уже после смерти поэта.

Яд ностальгии вновь, как много лет назад,
 Овладевает мной: я зол и резок в споре,
 Насмешлив, суховат, язвительен в укор,
 И в мыслях у меня сомненье и разлад.
 Встают сквозь мутный бред властней во много крат
 Россия Белого – пылающее море,
 Россия Тютчева – смирение и горе,
 Россия Гоголя – смятение и ад.
 Кто перечислит мне все эти отраженья?
 Напрасно силится найти воображенья
 В мелькании призраков свет вечного лица.
 Но отгоняю прочь приниженное чувство.
 Неоценимый дар – взглядеться до конца
 В лик Родины своей через ее искусство [Там же, с. 425].

Стихотворение открывает образ «яда ностальгии», новый и выразительный образ-мотив. Лирический герой Петереца охвачен чувством непреодолимой ностальгии, чувством тоски по родине, по ее образам и обликам.

Ностальгия делает героя «злым и резким в споре», «насмешливым, суховатым, язвительным в укор». И эти «сомненье и разлад», кажется, порождены множественностью литературных отражений его родины, которые порождает многоликая русская литература. Лирический герой признается, что «Россия Белого» (= «пылающее море») не похожа на «Россию Тютчева», в которой царит «смирение и горе», и обе первые не совпадают с обликом «России Гоголя», где царствуют «смятение и ад». Сознание лирического героя безуспешно («напрасно») «силится найти... в мелькании призраков свет вечного лица», то есть найти ту единственную Россию, которую он помнит и любит. Лирический персонаж не может назвать имени того творца русской литературы, который смог (бы) создать цельный и единый образ родины, не подверженный изменчивости, прозрачности и туманности.

Кажется, что герой зол, что такова объективность, он раздражен, что его ностальгическое чувство не может найти опоры в русской литературе. По этому поводу А. А. Забияко и Г. В. Эфендиева пишут так: в этом стихотворении «русская литература представлена “виновницей” за постигшие <поэта и героя> страдания» [8, с. 113]. Однако, на наш взгляд, это только кажется. В последних строках небольшого по объему стихотворения герой противоречит самому себе, опровергает и отвергает свою «злобу» и «резкость», гонит прочь «приниженное чувство». Герой достигает понимания, что «неоценимый дар», которым наделила его русская литература – это возможность «взглядеться до конца / В лик Родины своей через ее искусство».

Для эмигранта, давно оторванного от родной земли, только отечественная литература становится непосредственным заместителем родины, именно русская литература, ее «петербургский текст» дают возможность герою (и поэту) оказаться (хотя бы) мысленно на родине, созерцать ее просторы, следить за ее судьбой, разговаривать и делиться суждениями с ее гражданами (= писателями или героями ее произведений). Русская литература для Петереца (как и для многих русских поэтов-эмигрантов) – интертекстуальная метафора, метонимический образ-заместитель его родины, который не только поэтологически (эстетически), но и семантически (ментально) скрепляет его поэзию и жизнь, поэтические мечтания и личные представления о реальности.

Итак, можно сделать следующие **выводы**. Нами были проанализированы тексты наиболее ярких представителей «восточной ветви» литературной эмиграции, напрямую связанные с образом России и Петербурга. В ходе анализа было установлено, что образ России для эмигрантов, оказавшихся на Востоке еще в дореволюционное время или сохранивших воспоминания о родине пред- и пореволюционного времени, как правило, связывался с образом Петербурга, прежде всего с «петербургским текстом». Петербург, особенно литературный Петербург, был для русских эмигрантов на Востоке знаком-символом Родины, в частности образным воплощением возникшего в их сознании нового концепта – «родина-литература». С одной стороны, это объяснялось тем, что Петербург был столицей Российской империи и таковой оставался для эмигрантов и в последующее время, с другой – Харбин заставлял поэтов мысленно оказаться не на берегах Сунгари, а на берегах Невы, своим пропетербургским обликом погружая харбинцев в пространство ментального Петербурга. Исследование доказало, что имена А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Блока, значимые имена-претексты, помогали поэтам-эмигрантам формировать в условиях зарубежья собственную национальную идентичность и обогащать свои произведения интертекстуальными аллюзиями и реминисценциями, связывающими их с родиной.

Проделанная работа заставляет наметить *перспективы* дальнейшего научного осмысления данной темы. В последующем внимания заслуживает разработка связанной с тематикой России и Петербурга тема литературного творчества, тема предназначения поэта и поэзии, ярко проявившая себя в текстах рассматриваемых нами авторов и напрямую связанная с понятием «петербургского текста».

Список источников

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит-ра, 1975. 504 с.
2. Блок А. А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / под общ. ред. В. Н. Орлова и др. Л.: Гослитиздат, 1960. Т. 2. Стихотворения и поэмы. 1904-1908. 466 с.
3. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / вступ. ст. И. К. Горского; комм. В. В. Мочаловой. М.: Высш. школа, 1989. 404 с.
4. Гоголь Н. В. Сочинения: в 2-х т. М.: Гослитиздат, 1962. Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Повести. 1835-1842. 607 с.
5. Данилевский Р. Ю. Литературные связи XVIII-XIX вв. Л.: Наука, 1984. 276 с.
6. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Л.: Наука, 1979. 494 с.
7. Забияко А. А. Ментальность дальневосточного фронта: культура и литература русского Харбина: монография. Новосибирск: Изд-во Новосибирского отделения РАН, 2016. 437 с.
8. Забияко А. А., Эфендиева Г. В. «Четверть века беженской судьбы...»: художественный мир лирики русского Харбина. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2008. 428 с.
9. Калашников С. Б. Молодая поэзия // Литература русского зарубежья (1920-1990): сб. статей / под общ. ред. А. И. Смирновой. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 323-328.
10. Конрад Н. И. Запад и Восток. М.: Гл. вост. лит.; Наука, 1972. 496 с.
11. Крейд В. Все звезды повидава чужие... // Русская поэзия Китая: антология. М.: Худ. лит.; Время, 2001. С. 5-38.
12. Неупокоева И. Г. Проблемы взаимодействия современных литератур / Акад. наук СССР, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. М.: АН СССР, 1963. 227 с.
13. Русская поэзия Китая: антология / сост. В. Крейд, О. Бакич; науч. ред. Е. Витковский. М.: Худож. лит-ра; Время, 2001. 720 с.
14. Таскина Е. П. Поэтическая волна «русского Харбина» // Записки Русской академической группы в США. Нью-Йорк, 1994. Т. 26. С. 241-268.
15. Трусова И. С. Потерявшие родину: о судьбах дальневосточных поэтов // Россияне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество на рубеже веков: мат-лы Международной научно-практической конференции (24-26 сентября 1997 г.). Владивосток: ДВГУ, 1999. С. 318-324.
16. Хадынская А. А. Утраченная Россия Арсения Несмелова // Север России: стратегии и перспективы развития: материалы III Всероссийской научно-практической конференции: в 3-х т. Сургут: СурГУ, 2017. Т. 1. С. 184-190.
17. Цуй Лу. Харбинский миф в поэзии русской дальневосточной эмиграции // Культура и текст. 2018. № 4 (35). С. 85-98.
18. Шаронова В. Г. История русской эмиграции в Китае // Русское зарубежье. 2014. № 4. С. 217-228.
19. Шарохин Н. Г. Мой Харбин // Русская Атлантида. 2007. № 26. С. 39-43.

**Russia and Petersburg in the Russian Emigration's Poetry in China
(N. Svetlov, N. Shchegolev, N. Peterets)**

Zang Yunmei

*Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg
1374766721@qq.com*

The research objectives are as follows: to analyse poetical texts of the “Eastern branch” of the Russian emigration (the 1920-1940s) associated with the image of Motherland and Petersburg, to identify specificity of the Motherland-literature image representation in the poetry of the “first wave” of the Russian emigration. The researcher examines creative work of little-known poets of “Harbin-Shanghai” region, explores the traditionally adopted concept “Petersburg text” (V. Toporov) by the material of “eastern” poets’ works, which constitutes scientific originality of the study. The following conclusions are justified: N. Svetlov’s, N. Shchegolev’s, N. Peterets’s “eastern” poetry organically includes “Petersburg text”, contains allusions to A. Pushkin, N. Gogol, F. Dostoevsky, A. Blok. These intertextual allusions form the conception “Harbin-Petersburg poetical text”.

Key words and phrases: poetry of the Russian emigration in China; N. Svetlov; N. Shchegolev; N. Peterets; “Petersburg text”.